

до срока существовать в таком социуме было возможно. Между тем с начала и до конца произведения проходит одна и та же мысль: примириться с Омским тюремным *домом* ни автор “Записок...”, ни большинство арестантов никогда не могли [1, т. 4, с. 19, 78, 178, 195]. Потому что и дом этот – в том-то и заключалась его странность – был не просто, как любая тюрьма, принудительным; он, согласно писателю, был *мертвым*.

Впервые уподобление Омской каторги домовине-гробу прозвучало в письме Достоевского от 6 ноября 1854 г. к брату Андрею из Семипалатинска. Но там оно отражало индивидуальное впечатление человека творческого, для которого невозможность в течение четырех лет не только писать, но и читать была равнозначна погребению заживо. В каторжных “Записках...” “мертвый дом”, однако, уже не метафора, а прямое и точное определение *объективного* (разумеется, внутреннего, а не внешнего, ибо и тюрьма – не погост) свойства изображенного здесь общежития, как оно было понято Достоевским. Ведь и “выход из каторги”, описанный в одноименной последней главе произведения, назван в его заключительных словах не освобождением из заключения, а “воскресеньем из мертвых” [1, т. 4, с. 232]. Переключаясь с заглавием “Записок...”, названием их первой главы (“Мертвый дом”) и многократным повторением его в тексте произведения, это финальное понятие прочно скрепляло картину Омского каторжного социума единством авторской концепции и оценки.

\*\*\*

Но что же именно в устройстве Омского острога – и при “довольно достаточной пище” и “не такой тяжелой” работе – превращало его, по мысли Достоевского, для живого человека в гроб? Особая суровость надзора, жестокость наказаний?

“Жить нам, – сообщал Достоевский в уже цитированном письме к брату Михаилу, – было очень худо. Военная каторга тяжелее гражданской” [1, т. 28, кн. 1, с. 170]. “Второй разряд каторги, в котором я находился, – говорит писатель и в “Записках...”, – и состоявший из крепостных арестантов под военным начальством, был несравненно тяжелее остальных двух разрядов, то есть третьего (заводского) и первого (в рудниках). Тяжелее он был не только для дворян, но и для всех арестантов именно потому, что начальство и устройство этого разряда – все военное, очень похожее на арестантские роты в России. Военное начальство строже, порядки теснее, всегда в цепях, всегда под конвоем, всегда под замком...” [1, т. 4, с. 212].

И все же надзор даже в военном разряде Омской тюрьмы был терпимее, чем в европейских арестантских ротах страны, о которых каторжа-

не “говорили с ужасом” [1, т. 4, с. 212]: заключенные, “...хоть и в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень немногие), а по ночам иные заводили картеж” [1, т. 4, с. 19–20].

Телесным экзекуциям – розгами, шпицрутенами – омские каторжане подвергались за любоеслушание начальству, а то и по произволу “некоторых субалтерных командиров и охотников распорядиться и внушить при всяком удобном случае” [1, т. 4, с. 213], и экзекуции эти превращались в настоящие истязания жертв, когда их исполнителем назначался “до страсти” любивший “сечь и наказывать палками” поручик Жеребятников [1, т. 4, с. 147]. Но и не палящая, “как огнем”, физическая боль, обычно мужественно выносимая арестантами (“...вообще народ, – отмечает Достоевский, – умеет переносить боль”) [1, т. 4, с. 153, 154], приводила их в состояние живых мертвецов. Намного “эффективнее” в этом отношении была *система*, учрежденная в Омской каторжной крепости ее плац-майором. Сделаем необходимое отступление.

Реалист, по его собственному определению, “в высшем смысле”, Достоевский сочетал в своем лице величайшего идеалиста – в смысле приверженности “чудесной и чудотворной красоте” [1, т. 21, с. 10] Богочеловека и основанного на его нравственно-этических заветах общества-*братства* [1, т. 5, с. 80] – с одним из самых последовательных в русской литературе XIX в. антиутопистов и антисистематиков.

Неприятие Достоевским любых кабинетных систем и утопий, “составленных любителями рода человеческого для счастья рода человеческого” [1, т. 5, с. 111], объяснялось прежде всего абсолютным превосходством в глазах писателя-гуманиста подлинного бытия и полнокровной личности над их абстрактно рассчитанными и искусственно сконструированными подобиями. А также – ясным пониманием именно *отвлеченно-умозрительной* сущности социальных утопий и систем как продуктов “одной логики” [1, т. 5, с. 111] – “чистого разума”. “Да ведь разум, – отвечал его апологетам Достоевский, – оказался несостоятельным перед действительностью, да, сверх того, сами-то разумные, сами-то ученые начинают учить теперь, что нет доводов чистого разума, что чистого разума и не существует на свете, что отвлеченная логика неприложима к человечеству, что есть разум Иванов, Петров, Густавов, а чистого разума совсем не бывало, что это только неосновательная выдумка восемнадцатого столетия” [1, т. 5, с. 78].

«(...) Вот я теперь силюсь, – замечает художник в “Записках из Мертвого дома”, – подвести весь наш острог (т.е. каторжан. – В.Н.) под разряды: но возможно ли это? Действительность бесконечно разнообразна сравнительно со всеми, да-